

РАССУЖДЕНИЕ,
ПОЛУЧИВШЕЕ ПРЕМИЮ
ДИЖОНСКОЙ АКАДЕМИИ В 1750 ГОДУ
ПО ВОПРОСУ,
ПРЕДЛОЖЕННОМУ ЭТОЮ ЖЕ АКАДЕМИЕЙ:
«СПОСОБСТВОВАЛО ЛИ
ВОЗРОЖДЕНИЕ НАУК И ИСКУССТВ
ОЧИЩЕНИЮ ПРАВОВ?»¹



Barbarus hic ego sum, quia non
intelligor illis

Ovid[ius]*.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ²

Что такое известность? Вот злосчастный труд, коему я обязан моею известностью. Конечно же, это сочинение, которое принесло мне премию и создало мне имя, в лучшем случае — посредственно и, смею добавить, оно — одно из самых незначительных во всем этом издании³. Какой бездны терзаний совсем не знал бы автор, если бы это первое его сочинение было принято лишь так, как оно того заслуживало. Однако должно же было случиться, чтобы благосклонность, тогда еще неоправданная, навлекла на меня постепенно строгости, которые еще более несправедливы⁴.

ПРЕДИСЛОВИЕ⁵

Вот один из самых великих и прекрасных вопросов, которые когда-либо поднимались. В этом Рассуждении речь идет вовсе не о тех метафизических тонкостях, которые заполнили все области литературы и от которых не

* Я здесь чужеземец, ибо никто меня не понимает. О в и д и й⁶ (лат.).— Тристин, V. Элегия X, стих 37.

всегда свободны и академические программы, но об одной из тех истин, от коих зависит счастье человеческого рода.

Предвижу, что мне нелегко простят то, что я осмелился предложить свое решение в этом споре. Прямо нападая на то, чем люди нынче восхищаются, я могу ожидать лишь всеобщего осуждения; и даже если удостоился одобрения нескольких Мудрецов⁷, не могу все же рассчитывать на одобрение Публики; и потому выбор мой сделан: я не надеюсь угодить ни Остроумцам, ни Кумирам моды. Во все времена будут люди, которым суждено подчиняться воззрениям своего века, своей Страны и своего Общества. Иной корчит из себя сегодня Вольнодумца и Философа; по той же причине он обязательно был бы фанатиком во времена Лиги⁸. Совсем не для таких Читателей надо писать, если хочешь прожить дольше своего века.

Еще одно слово, и я кончаю. Мало рассчитывая на ту честь, какая была мне оказана, я до такой степени переработал и расширил это Рассуждение после того, как отослал его, что сделал из него в некотором роде новое произведение⁹. Теперь же я счел себя обязанным восстановить сей труд в том виде, в каком он был отмечен премией. Я лишь вставил в него несколько примечаний и сохранил два добавления, которые легко увидеть¹⁰ и которые, быть может, не получили бы одобрения Академии. Я считал, что справедливость, уважение и признательность требуют от меня, чтобы я сделал это предупреждение.

РАССУЖДЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:

СПОСОБСТВОВАЛО ЛИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ

НАУК И ИСКУССТВ

ОЧИЩЕНИЮ НРАВОВ?

Decipimur specie recti *.

Возрождение Наук и Искусств очищению или же порче Нравов¹¹ способствовало? Вот что предстоит нам рассмотреть. Чью сторону должен я принять в этом вопросе? Ту, господа, которая подобает порядочному человеку, если он ничего не знает, но не теряет из-за этого ни в какой мере уважения к самому себе.

Трудно будет,— и я это чувствую,— отстаивать то, что предстоит мне сказать, в том Суде, перед которым я выступаю. Как решиться хулить Науки перед одним из учнейших собраний в Европе, восхвалять невежество перед знаменитою Академией¹² и примирить презрение к научным за-

* Мы, честные люди, обманываемся видимостью правды (лат.)¹³. Гораций. Искусство поэзии, 25.

нениям с уважением к истинным Ученым? Я видел все эти противоречия, но они меня не остановили. Не Науку я оскорбляю, — сказал я самому себе, — Добродетель защищаю я перед людьми добродетельными. Честность для людей порядочных еще дороже, чем ученость для ученых. Чего же мне страшиться? Просвещенности ли собрания, меня слушающего? Да, я страшусь, признаюсь в этом; но за построение моей речи я опасаюсь, а не за мнение оратора. Справедливые Властители всегда без колебаний сами признавали себя неправыми, когда в спорах возникало сомнение; а для того, кто отстаивает правое дело, положение всего благоприятнее, когда ему приходится защищаться перед честным и просвещенным противником, судьей в собственном своем деле.

К этому соображению, меня ободряющему, присоединяется еще и другое, заставляющее меня решиться: я принял сообразно природному моему разумению сторону истины, и чего бы я ни добился, одна награда все же не уйдет от меня — я найду ее в глубине моего сердца.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Сколь величественно и прекрасно зрелище, когда видим мы, как человек в некотором роде выходит из небытия при помощи собственных своих усилий; как рассеивает он светом своего разума мрак¹⁴, коим окутала его природа, как поднимается он над самим собою, как возносится он в своих помыслах до небесных пределов; как проходит он гигантскими шагами, подобно солнцу, по обширным пространствам Вселенной, и — что важнее еще и труднее, — как он углубляется в самого себя, чтобы в себе самом изучить человека и познать его природу, его обязанности и его судьбу. И все эти чудеса вновь совершились на памяти недавних поколений¹⁵.

Европа уже опять впадала в варварство первых веков¹⁶. Народы этой части света, ныне столь просвещенные, жили несколько столетий тому назад в состоянии худшем, чем невежество. Не знаю, какой наукоподобный жаргон, еще более презренный, чем само невежество¹⁷, присвоил себе право называться наукой и поставил возвращению настоящего знания почти неодолимые препятствия. Нужен был переворот, чтобы опять привести людей к здравому смыслу; и он пришел, наконец, с той стороны, с которой его меньше всего можно было бы ждать. Тупой мусульманин¹⁸, этот извечный гонитель литературы, — вот кто возродил ее среди нас. С падением трона Константина¹⁹ обломки древней Греции были перенесены в Италию. Франция в свою очередь обогатилась от этих драгоценных останков. Вскоре за литературою последовали науки: к искусству писать присоединилось искусство мыслить: последовательность эта кажется странной, и все же она, быть

может, более, чем естественна: и людям стало открываться главное преимущество общения с музами,— преимущество это делает людей более общительными, так как оно внушает им при помощи произведений, достойных общего одобрения, желание друг другу понравиться.

У духа есть свои потребности, как и у тела. Эти последние образуют самые основания общества; первые же придают ему приятность. В то время как Правительство и Законы обеспечивают безопасность и благополучие объединившихся людей, Науки, Литература и Искусства — менее депотичные, но, быть может, более могущественные,— покрывают гирляндами цветов железные цепи²⁰, коим опутаны эти люди; подавляют в них чувство той исконной свободы, для которой они, казалось бы, рождены; заставляют их любить свое рабское состояние и превращают их в то, что называется цивилизованными народами. Необходимость воздвигла троны; Науки и Искусства их укрепили. Сильные мира сего, возлюбите дарования и покровительствуйте тем, кто их развивает¹.

Цивилизованные народы, развивайте дарования: счастливые рабы, вы им обязаны этим нежным и тонким вкусом, которым вы кичитесь, этой кротостью характера и благоразумною сдержанностью нравов, которые делают общение между вами столь тесным и легким; одним словом, дарования дают вам видимость всех добродетелей, хоть вы и не обладаете из них ни одною.

Вот такого рода обходительностью, тем более приятною, чем менее она старается себя показать, отличались некогда Афины и Рим в столь превозносимые дни их величия и блеска; безусловно, благодаря этой же именно обходительности и наш век, и наша Нация переживут все времена и все народы. Философский тон без педантизма, естественные и все же предупредительные манеры, равно далекие как от германской грубости, так и от итальянского фыглярства,— вот плоды вкуса, приобретенного основательными занятиями и усовершенствованного в светском общении.

Как было бы приятно жить среди нас²¹, если бы внешность всегда выражала подлинные душевные склонности, если бы благопристойность была добродетелью, если бы наши возвышенные моральные афоризмы служили нам в самом деле правилами поведения, если бы настоящая философия была неотделима от звания философа! Но столь многие качества слишком редко

¹ Государи всегда рады видеть, как среди их подданных распространяется вкус к приятным искусствам и к излишествам, если это не влечет за собою вывоза денег; ибо, помимо того, что таким путем они воспитывают в подданных душевное убожество, столь присущее рабству, они еще очень хорошо знают, что все потребности, которые теперь появляются у народа, суть цепи, которые он сам на себя возлагает. Александр, желая удержать ихтиофагов в зависимом от него положении²², принудил их отказываться от рыбной ловли и питаться теми же продуктами, что и другие народы; но дикарей Америки, которые ходят совершенно нагими и живут лишь тем, что им приносит охота, так и не удалось покорить; в самом деле, какое ярмо можно наложить на людей, которым ничего не нужно?

оказываются вместе, и добродетель едва ли шествует с такою пышною свитой. Богатство наряда может говорить нам о зажиточности человека, а его изящество — о том, что это человек со вкусом, но здоровый и крепкий человек узнается по другим приметам: под деревенской одеждою землепашца, а не под шитым золотым нарядом придворного, — вот где окажется сильное и крепкое тело. Наряды не менее чужды добродетели, которая есть сила и крепость души. Добродетельный человек — это атлет, который находит удовольствие в том, чтобы сражаться нагим; он презирает все эти ничтожные украшения, которые помешали бы ему проявить свою силу и большая часть которых была изобретена лишь для того, чтобы скрыть какое-нибудь уродство.

До того, как искусство обтесало наши манеры и научило наши страсти говорить готовым языком, нравы у нас были грубые и простые, но естественные, и различие в поведении с первого взгляда говорило о различии характеров. Человеческая природа, в сущности, не была лучшею, но люди видели свою безопасность в легкости, с какою они понимали друг друга, и это преимущество, ценности которого мы уже не чувствуем, избавляло их от многих пороков.

Ныне, когда более хитроумные ухищрения и более тонкий вкус свели искусство нравиться к определенным принципам, в наших нравах воцарилось низкое обманчивое однообразие, и все умы кажутся отлитыми в одной и той же форме: вежливость без конца чего-то требует, благопристойность приказывает, мы без конца следуем обычаям и никогда — собственному своему разуму. Люди уже не решаются казаться тем, что они есть; и при таком постоянном принуждении эти люди, составляющие стадо, именуемое обществом, поставленные в одинаковые условия, будут все делать то же самое, если только более могущественные причины их от этого не отвратят. Никогда не знаешь как следует, с кем имеешь дело: для того, чтобы узнать своего друга, нужно таким образом ждать крупных событий, т. е. ждать, когда на это уже нет больше времени, так как именно ради этих событий и было бы важно узнать, кто твой друг.

Какая вереница пороков тянется за этою неуверенностью. Нет больше ни искренней дружбы, ни настоящего уважения, ни обоснованного доверия. Подозрения, недоверие, страхи, холодность, сдержанность, ненависть постоянно скрываются под этим неизменным и коварным обличьем вежливости, под этою столь хваленою благовоспитанностью, которой мы обязаны просвещенности нашего века. Никто уже не станет поминать всуе имя Владыки вселенной, но его оскорбляют богохульством, и это не оскорбляет наш слух. Люди уже не превозносят свои собственные заслуги, но они умаляют заслуги других людей. Никто уже не станет грубо оскорблять своего врага, но его умеют ловко оклеветать. Национальная вражда угасает, но вместе с нею угасает и любовь к Отечеству. Невежество, достойное презрения, заменяется

опасным пирронизмом²³. Появляются недозволенные излишества, бесчестные пороки; но иные из пороков и излишеств награждаются именем добродетелей; нужно обладать ими или притворяться, что ими обладаешь. Пусть кто угодно превозносит воздержанность мудрецов нашего времени; я же вижу в этом лишь утонченную развращенность, столь же мало достойную моей похвалы, как их искусственная простота^{II}.

Вот какой чистоты достигли наши нравы; вот как стали мы добродетельными людьми. Литература, науки и искусства вправе требовать, чтобы оценили по достоинству то, что принадлежит им в этом столь спасительном превращении. Я добавлю только одно соображение: если бы житель каких-нибудь отдаленных стран попытался создать себе представление о европейских нравах, исходя из состояния наук в наших странах, из совершенства наших искусств, из благопристойности наших театральных представлений, из мягкости наших манер, из приветливости наших речей и из того, как люди всякого возраста от утренней зари до заката солнца, казалось бы, только и делают, что наперебой стараются перещеголять друг друга в услужливости, — то у этого чужеземца сложилось бы о наших нравах представление как раз обратное тому, что они собой представляют в действительности.

Там, где нет никакого результата, там нечего искать и какой-либо причины, но здесь результат несомненен — явная испорченность; и наши души развратились по мере того, как шли к совершенству наши науки и искусства. Можно ли сказать, что это несчастье свойственно лишь нашему веку? Нет, господа, беды, вызванные нашим ненужным любопытством, стары, как мир. Ежедневные приливы и отливы вод Океана не более связаны с движением планеты, что светит нам по ночам²⁴, чем судьба нравов и честности с успехами наук и искусств. Люди видели, что добродетель исчезла по мере того, как их сияние поднималось все выше над нашим горизонтом, и то же явление наблюдалось во все времена и повсеместно.

Возьмите Египет — эту первую школу вселенной — с его благодатным климатом под медным, раскаленным небом; взгляните на эту знаменитую страну, откуда Сезострис²⁵ некогда отправился завоевывать мир. Эта страна становится матерью философии и изящных искусств, и вскоре после этого — завоевана Камбизом, затем греками, римлянами, арабами и, наконец, турками²⁶.

Возьмите Грецию, некогда населенную героями, которые дважды одолели Азию, один раз у Трои, а другой — у собственных своих очагов²⁷. Рождающаяся литература не внесла еще испорченности в сердца ее обитателей; но развитие искусств, разложение нравов и иго македонца последовали непосредственно одно за другим; и Греция по-прежнему ученая, по-прежнему сладост-

^{II} «Я люблю,— говорит Монтень,— собеседование и спор, но лишь с немногими и в тесном кругу. Ибо служить зрелищем для великих мира сего и выставять напоказ свой ум и умение болтать я считаю делом вовсе неподобающим для порядочного человека»²⁸. Таково ремесло всех наших остроумцев, кроме одного²⁹.

страстная и по-прежнему поработенная в результате происходивших в ней переворотов получала лишь новых повелителей³⁰. Все красноречие Демосфена³¹ никак не могло оживить организм, обессиленный роскошью и искусствами.

Во времена Энниев и Теренциев³² — вот когда Рим, основанный пастухом³³ и прославленный земледельцами³⁴, начинает приходить в упадок. Но после Овидиев, Катуллов, Марциалов³⁵ и этой толпы непристойных писателей, одни имена которых возмущают стыдливость, Рим, бывший когда-то храмом добродетели, превращается в театр преступлений, позор народов и игрушку варваров. Эта столица мира пала в конце концов под тяжестью ярма, которое она наложила на столь многие народы, и накануне дня ее падения одному из ее граждан был пожалован титул «арбитра хорошего вкуса»³⁶.

А что скажу я о том центре Восточной империи³⁷, который по своему положению, казалось бы, должен был быть центром всего мира, об этом прибежище наук и искусств, изгнанных из остальной части Европы, быть может, скорее вследствие осмотрительности, нежели из варварства? Все, что в разврате и испорченности есть самого постыдного — в изменах, убийствах и отравлениях, — самого черного, все, что есть в скопищах всех преступлений самого жестокого, — вот что образует основу истории Константинополя; вот он, чистый источник, из которого просочились к нам знания³⁸, коими кичится наш век.

Но к чему нам искать в далеких временах доказательства той истины, подтверждения которой налицо перед нами? В Азии есть огромная страна³⁹, где литература в почете и ведет к самым высоким должностям в государстве. Если бы науки очищали нравы, если б учили они людей проливать кровь за свое отечество, если б внушали они мужество, то народы Китая должны были быть мудрыми, свободными и непобедимыми. Но если нет такого порока, который не властвовал бы над ними, если нет такого преступления, которое не было бы у них обычным, если ни познания министров, ни так называемая мудрость законов, ни многочисленность жителей этой обширной империи не смогли ее оградить от ига невежественного и грубого монгола⁴⁰, — то пригодились ли ей все ее ученые? Что получила страна от почестей, коими они осыпаны? Не то ли, что населяют ее рабы и злодеи?

Противопоставим этому картину нравов немногочисленных народов, которые, предохранив себя от этой заразы ненужных знаний, своими добродетелями создали собственное свое счастье и явили собою пример для других народов. Таковы были древние персы — удивительная нация, где изучали добродетель⁴¹, как у нас изучают науку, которая с такою легкостью покорила Азию и которая, единственная, прославилась тем, что история ее установлений стала восприниматься как философский роман⁴². Таковы были скифы⁴³, о которых до нас дошли столь восторженные хвалебные отзывы. Таковы были германцы; перо, уставшее описывать преступления⁴⁴ и мерзости образованного,

богатого и сластолюбивого народа, с чувством облегчения рисовало их простоту, невинность и добродетели. Таков был даже Рим во времена своей бедности и неведения; такой, наконец, показала себя до наших дней эта нация крестьян⁴⁵, столь превозносимая за храбрость, которую не могли сломить бедствия, и за верность, которую не мог поколебать дурной пример^{III}.

Отнюдь не по глупости предпочли эти последние упражнения ума иные упражнения. Они не могли не знать, что в других странах праздные люди проводят жизнь в спорах о высшем благе, о пороке и о добродетели и что спесивые болтуны, расточая сами себе величайшие похвалы, все остальные народы смешивают в один, под одним презрительным прозвищем варваров. Но эти варвары присмотрелись к их нравам и научились презирать их ученость^{IV}.

Забуду ли я, что из самых недр Греции поднялся этот город, столь же знаменитый счастливым своим неведением, как и мудростью своих законов; эта республика скорее полубогов, чем людей, настолько добродетели их, казалось, превосходили все человеческое? О, Спарта, вечное посрамление бесплодной учености⁴⁶! В то время, как пороки, предводительствуемые изящными искусствами, вместе с ними проникали в Афины, где тиран с таким старанием собирал творения первого из поэтов⁴⁷, ты изгнала из своих стен искусства и художников, науки и ученых!

Исход событий показал цену этих различий. Афины стали обителью вежливости и хорошего вкуса, странною ораторов и философов; изящество строев соответствовало в этом городе изяществу языка: повсюду видны были там мрамор и холст, оживленные руками искуснейших мастеров; из Афин вышли эти удивительные произведения, которые будут служить образцами во все развращенные века. Лакедемон⁴⁸ являл собою менее блистательную картину. Там,—говорили другие народы,—люди рождаются добродетельными и кажется, что сам воздух этой страны внушает добродетель. От ее обитателей нам кажется лишь память о их героических деяниях. Разве такие памятники должны иметь для нас меньше цены, чем мраморные изваяния, что остались нам от Афин?

^{III} Я не осмеливаюсь говорить здесь о счастливых народах, не ведающих даже названий тех пороков, с которыми нам так трудно справляться, об этих дикарях Америки, чей простой и естественный уклад жизни Монтень без колебаний предпочитает не только законам Платона⁴⁹, но даже всему тому самому совершенному, что философия когда бы то ни было сможет изобрести для управления народами. Он приводит тому множество разительных примеров для тех, кто способен этим восхищаться. «Но ведь,—говорит он,—они не носят коротких штанов!»⁵⁰.

^{IV} По совести, пусть мне скажут, какого мнения должны были быть сами афиняне о красноречии, когда они его так старательно изгоняли из неподкупного совета, чьи приговоры не оспаривали сами боги? Что думали римляне о медицине, когда изгнали ее из своей Республики?⁵¹ А когда кое-какие остатки человечности заставили испанцев запретить своим законникам въезд в Америку, какое представление должны были они иметь о юриспруденции? Не скажете ли вы, что они думали одним этим поступком искупить все зло, которое они причинили этим несчастным индейцам?⁵².

Некоторые мудрецы, правда, противостояли общему потоку и убереглись от порока в обители муз. Но послушайте, какое суждение высказал первый и самый несчастный из этих мудрецов⁵³ о художниках своего времени:

«Я изучил,— говорит он,— поэтов, и смотрю на них как на людей, чье дарование вводит в заблуждение их самих и других: они выдают себя за мудрецов, их считают таковыми, но они менее всего мудрецы.

От поэтов,— продолжает Сократ,— я перешел к художникам. Никто не был большим невеждою в искусствах, чем я; никто не был больше меня убежден, что художники владеют весьма замечательными секретами. Между тем я увидел, что их положение не лучше положения поэтов и что все они, и те и другие, пребывают во власти одного и того же предрассудка. Самые искусные из них достигли совершенства в своем деле и потому считают себя мудрейшими из людей. Это их самомнение заставило потускнеть в моих глазах весь блеск их знания: так что поставив себя на место оракула и вопрошая себя, кем бы я предпочел быть — самим собою или ими,— знать то, чему они научились, или же знать, что я ничего не знаю, я ответил самому себе и Богу: я хочу остаться самим собою.

Мы не знаем — ни софисты, ни поэты, ни ораторы, ни художники, ни я,— что есть истина, добро, красота. Но есть между нами то различие, что хотя эти люди ничего не знают, все они полагают, что знают кое-что; тогда как я, если и ничего не знаю, то, по меньшей мере, не имею на этот счет никаких сомнений. Так что все это превосходство, дарованное мне оракулом, сводится лишь к тому, что я твердо убежден в том, что мне неизвестно то, чего я не знаю».

Итак, вы видите, что самый мудрый из людей, по суждению богов, и самый ученый из афинян, по мнению всей Греции, Сократ, воздаст хвалу неведению! Можно ли верить, что если бы вновь ожил он среди нас в наше время, наши ученые и художники заставили бы его изменить свое мнение? Нет, милостивые государи: этот справедливый человек продолжал бы презирать наши ненужные науки; он никак не способствовал бы приумножению той массы книг, коими засыпают нас со всех сторон, и он оставил бы, как он это и сделал, в назидание своим ученикам и нашим внукам лишь свой пример и память о своих добродетелях. Вот так хорошо поучать людей.

Сначала Сократ в Афинах, за ним Катон старший в Риме⁵⁴ обрушились на этих коварных и хитрых греков, которые создавали соблазны для добродетели и ослабляли мужество своих сограждан. Но науки, искусства и диалектика все же восторжествовали: Рим переполнялся философами и ораторами; военная дисциплина оказалась в пренебрежении; к земледелию стали относиться с презрением; люди разделились на секты и забыли об общем отечестве. Вместо священных слов: свобода, бескорыстие, повиновение законам, появились имена: Эпикур, Зенон, Аркесилай⁵⁵. *С тех пор, как среди нас начали появляться ученые,— говорили их собственные философы,— добродетельные*

*люди сокрылись*⁵⁶. До тех пор римляне довольствовались тем, что поступали добродетельно; все погибло, когда они начали изучать добродетель.

О, Фабриций!⁵⁷ Что почувствовала бы ваша великая душа, если бы на ваше несчастье, вновь вызванный к жизни, вы увидели пышное обличие Рима, который спасен был некогда вашей рукою и который честное ваше имя прославило больше, чем все его завоевания? «Боги! — сказали бы вы, — во что превратились эти соломенные крыши и скромные очаги, где некогда обитали умеренность и добродетель? Какое пагубное великолепие сменило римскую простоту? Что это за незнакомый язык?⁵⁸ что за изнеженные нравы? что означают эти статуи, эти картины, эти здания? Безумные, что вы наделали? Вы, повелители народов, вы превратились в рабов тех никчемных людей, которых вы покорили!»⁵⁹ Риторы — вот кто правит вами! Для того, чтобы обогатить архитекторов, художников, скульпторов и комедиантов — вот для чего оросили вы вашу кровью Грецию и Азию! Останки Карфагена стали добычею флейтиста!⁶⁰ Римляне, спешите же уничтожить эти амфитеатры; разбейте эти мраморные изваяния, сожгите эти картины! Изгоните рабов, которые вас себе подчиняют, и пагубные искусства их, вас развращающие. Пусть другие руки прославляют себя ненужными дарованиями; единственное дарование, достойное Рима, — это завоевание мира, чтобы установить в нем царство добродетели⁶¹. Когда Киней принял наш сенат за собрание царей⁶², он не был ослеплен ни ненужною пышностью, ни изысканною утонченностью; он не слышал там никчемного красноречия, в котором изощряются и находят наслаждение праздные люди. Что же увидел Киней такого величественного? О, граждане! он увидел зрелище, какого никогда не дадут вам ни ваши богатства, ни все ваши искусства, самое прекрасное зрелище, которое когда-либо видели под небесами: собрание двухсот добродетельных людей, достойных повелевать в Риме и править землею».

Но давайте перенесемся через века и пространства и посмотрим, что произошло в наших странах и у нас на глазах; или нет — лучше отбросим отвратительные картины, которые могли бы задеть нашу чувствительность, и избавим себя от труда повторять то же самое под другими названиями. Не напрасно вызвал я тень Фабриция и заставил ли я сказать этого великого человека хоть что-нибудь такое, чего я не смог бы вложить в уста Людовика XII или Генриха IV?⁶³ В наше время, правда, Сократу не пришлось бы выпить сок дикуты, но ему пришлось бы испытать нечто еще более горькое — отвратительные насмешки и презрение, что во сто раз хуже, чем смерть.

Вот каким образом роскошь, распущенность и рабство во все времена становились наказанием за все исполненные гордыни попытки выйти из счастливого неведения, в которое погрузила нас вечная Мудрость. Густая пелена, которою покрыла она все свои действия, казалось, достаточно предупреждала нас о том, что она вовсе не предназначала нас для ненужных и пустых размышлений. Но сумели ли мы воспользоваться или безнаказанно пренебречь хоть

одним из ее уроков? Народы, знайте же раз навсегда, что природа хотела уберечь вас от знания, как мать, которая вырывает опасный предмет из рук своего дитяти; что все тайны, которые она от нас скрывает, — это беды, от которых она нас ограждает; что трудности учения — это не меньшее из ее благодеяний. Люди испорчены; они могли бы быть еще хуже, если бы имели несчастье родиться учеными.

Сколь унизительны для человечества подобные размышления! сколь должна от них страдать наша гордость! Как! честность — это дочь невежества? науки и добродетель — несовместимы? Каких только выводов нельзя сделать из этих предпосылок? Но чтобы примирить эти кажущиеся противоположности, нужно лишь увидеть, как напрасны и пусты те горделивые названия, которые нас ослепляют и которые мы так легко даем человеческим знаниям. Рассмотрим же науки и искусства сами по себе: посмотрим, к чему должны привести их успехи; и без колебаний примем все те выводы из наших рассуждений, которые окажутся в согласии с выводами истории.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Древнее предание, перешедшее из Египта в Грецию, говорит, что тот из богов, который был врагом людского покоя ⁶⁴, был изобретателем наук V. Что же должны были думать о науках сами египтяне, среди которых они зародились? Дело в том, что они видели перед собою источники, науки породившие. В самом деле, если перелистаем мы все летописи мира и даже восполним, при помощи разных философских построений, все пробелы в очень сбивчивых хрониках, мы не найдем такого источника человеческих знаний, который отвечал бы нашим любимым представлениям о их происхождении. Астрономия родилась из суеверий; красноречие — из честолюбия, ненависти, лести, лжи; геометрия — из скупости; физика — из праздного любопытства, — все они и даже сама мораль вместе с ними — из человеческой гордыни. Науки и искусства, таким образом, обязаны своим происхождением нашим порокам ⁶⁵: мы бы меньше сомневались в их достоинствах, если бы своим происхождением обязаны они были нашим добродетелям.

Порочное их происхождение даже слишком наглядно открывается перед нами снова в том, чему они служат. К чему были бы нам искусства, если бы

V Нетрудно понять аллегория сказания о Прометее; и не похоже на то, чтобы греки, приковавшие его на Кавказе ⁶⁶, думали о нем сколько-нибудь лучше, чем египтяне о своем боге Тоте. «Сатир, — рассказывается в одной старинной басне, — увидев впервые огонь, хотел его обнять и поцеловать, но Прометей крикнул ему: „Сатир, ты будешь оплакивать бороду на твоём подбородке, ибо огонь жжется, когда к нему прикасаются“» ⁶⁷. Таков сюжет фронтисписа.

не питающая их роскошь? Не будь людской несправедливости, зачем понадобилась бы нам юриспруденция? Что случилось бы с историей, если бы не было ни тиранов, ни войн, ни заговорщиков? Одним словом, кто бы захотел проводить свою жизнь в бесплодном созерцании, если бы каждый, сообразуясь лишь с обязанностями человека и с требованиями природы, отдавал все свое время только родине, несчастным и своим друзьям? Неужто мы созданы для того, чтобы умереть прикованными к краям колодца, в котором скрылась истина? ⁶⁸ Одно только это соображение должно было с первых шагов отпугнуть всякого человека, который всерьез стремился бы просветиться, изучая философию.

Сколько опасностей, сколько ложных путей угрожают нам в научных исследованиях! Через сколько ошибок, в тысячу раз более опасных, чем польза, приносимая истиною, нужно пройти, чтобы этой истине достигнуть? Несоразмерность затрат и результатов очевидна: ибо ложное может выступать в бесконечных сочетаниях, истина же существует лишь в одном виде ⁶⁹. Впрочем, кто же ищет ее со всею искренностью? Даже при самом большом желании, по каким признакам можно с уверенностью ее узнать? В этой толчее различных мнений, что будет нашим *критерием*, позволяющим верно судить о ней? ^{VI} И что всего труднее, — если по счастью мы найдем, наконец, этот критерий, — кто из нас сумеет правильно его применить?

Если наши науки бессильны решить те задачи, которые они перед собою ставят, то они еще более опасны по тем результатам, к которым они принодят. Рожденные в праздности, они, в свою очередь, питают праздность, и невозместимая потеря времени — вот в чем, раньше всего, выражается вред, который они неизбежно приносят обществу. В политике, как и в морали, не делать никакого добра — это большое зло; и каждый бесполезный гражданин может рассматриваться как человек вредный ⁷⁰. Ответьте же мне, знаменитые философы, вы, которые открыли нам, почему тела притягивают друг друга в пустоте ⁷¹; каковы при обращениях планет отношения пространств, пройденных за равные промежутки времени ⁷²; какие кривые имеют сопряженные точки ⁷³, точки склонения и точки изгиба; как человек все видит в Боге ⁷⁴; как душа и тело отвечают друг другу ⁷⁵ не сообщаясь так же, как двое часов в разных местах; какие небесные тела могут быть обитаемы ⁷⁶; какие насекомые размножаются необычным образом ⁷⁷, — ответьте мне, говорю я, вы, которые дали нам столько блистательных открытий: если бы вы не узнали ничего из этих вещей, были бы мы менее многочисленны, хуже управляемы, менее грозны для врагов, процветали бы меньше или были бы менее порочны? Поду-

^{VI} Чем меньше люди знают, тем более сведущими они себя считают. Разве перипатетики в чем-либо сомневались? ⁷⁸ Разве Декарт не построил вселенную из кубов и вихрей? ⁷⁹ И разве даже теперь в Европе найдется настолько плохой физик, который не взялся бы бойко объяснять глубокую тайну электричества ⁸⁰, хотя она, вероятно, всегда будет приводить в отчаяние истинных философов?

майте же еще раз о значении ваших произведений и если самые просвещенные труды наших ученых и наших лучших граждан для нас столь малополезны, скажите нам, что должны мы думать об этой толпе безвестных писателей и праздных грамотеев, которые высасывают жизненные соки государства, не принося ровно никакой пользы.

Праздных, говорю я? О, если бы Богу было угодно, чтобы так было на самом деле! Нравы были бы тогда здоровее, а общество — спокойнее. Но эти бесполезные и ничтожные витии наступают на нас со всех сторон, вооруженные своими пагубными парадоксами, подкапываются под самые основы веры⁸¹ и уничтожают добродетель. Они презрительно улыбаются, когда слышат старые эти слова: «родина», «религия» и обращают свои дарования и свою философию на то, чтобы все, что есть у людей святого, разрушить и опорочить. И не то, чтобы они ненавидели в самом деле добродетель и наши догматы; они — враги общественного мнения; и чтобы снова привести их к подножию алтарей, достаточно было бы зачислить их в безбожники. О, это неистовое желание — отличаться — тех, кому это не дано!

Это большое зло — потеря времени. Но зло еще худшее несут с собою литература и искусства. Такое зло — роскошь, рожденная, как и они, из праздности и людского тщеславия⁸². Роскошь редко обходится без наук и искусств, они же никогда не обходятся без роскоши. Я знаю, что наша философия, неистощимая в изобретении удивительных афоризмов, утверждает, вопреки всему вековому опыту, что роскошь сообщает блеск государствам⁸³; но, забыв о необходимости законов против роскоши, осмелится ли она также отрицать, что долговечность империй зиждется на добрых нравах и что роскошь представляет собою диаметрально противоположность добрым нравам? Пусть роскошь представляет собою достоверный признак богатства; пусть она даже служит, если угодно, для умножения богатств: что же следует заключить из этого парадокса, столь достойного наших дней? и что станет с добродетелью, если люди будут вынуждены обогащаться любой ценою? Политики древности беспрестанно говорили о нравах и о добродетели; наши — говорят лишь о торговле и о деньгах⁸⁴. Один вам скажет, что человек стоит в такой-то стране столько, сколько можно было бы за него получить, если продать его в Алжир⁸⁵; другой, следуя тому же расчету, найдет такие страны, где человек не стоит ничего⁸⁶, и такие, где он стоит меньше, чем ничего. Они оценивают людей как стада скота. По их мнению, ценность человека в Государстве определяется лишь тем, что он в этом Государстве потребляет; таким образом, один сибарит стоил бы добрых тридцати лакедемонян⁸⁷. Вот и угадайте, которая из этих двух республик, Спарта или Сибарис, была покорена горстью крестьян⁸⁸ и которая из них повергла в трепет Азию.

Монархию Кира завоевал с тридцатью тысячами человек государь⁸⁹ более бедный, чем самый незначительный из персидских сатрапов; а скифы, самый нищий из всех народов, противостояли самым могущественным монархам все-

ленной⁹⁰. Две знаменитые республики оспаривали друг у друга власть над миром⁹¹; одна из них была очень богатой, у другой — не было ничего, и именно эта последняя разрушила первую. Римская империя, поглотив все богатство мира, стала добычей людей, даже не знавших, что такое богатство. Франки завоевали Галлию, саксы — Англию⁹², не имея иных сокровищ, кроме храбрости и бедности. Толпа бедных горцев, все вождения которых не шли дальше нескольких бараньих шкур, унизив гордыню австрийцев, сокрушила затем богатейшую и грозную Бургундскую династию⁹³, приводившую в трепет властителей Европы. Наконец, все могущество и вся мудрость наследника Карла V⁹⁴, подкрепленные всеми сокровищами Индий, разбились о горсточку ловцов сельдей⁹⁵. Пусть наши политики соблаговолят прекратить свои подсчеты и поразмыслят над этими примерами, и пусть они раз и навсегда поймут, что за деньги можно приобрести все, кроме добрых нравов и обычаев добрых граждан.

О чем же, строго говоря, идет речь, когда мы рассуждаем о роскоши? О том, чтобы узнать, что важнее всего для держав: быть блестящими и существовать недолго или добродетельными и долговечными? Я говорю блестящими, но каким блеском? Склонность к пышности едва ли уживется в одних и тех же душах с любовью к честности. Нет, невозможно, чтобы умы, погрязшие во множестве ничтожных забот, возвысились когда-нибудь до чего-либо великого, и если бы даже у них и хватило на это сил, им не хватило бы на то мужества.

Каждому художнику желанны рукоплескания. Похвалы современников — это самая драгоценная часть его награды. Что же ему делать, чтобы заслужить эти похвалы, если он имел несчастье родиться среди такого народа и в такое время, когда вошедшие в моду ученые позволили легкомысленной молодежи задавать тон; когда мужи жертвуют своими вкусами в угоду тиранам их свободы^{VII}; когда один пол решается одобрять лишь то, что соответствует мало-душию другого, и потому терпят провал шедевры драматической поэзии⁹⁶ и отвергаются чудеса гармонии?⁹⁷ Что же сделает художник, господа? Он приизит свой гений до уровня своего века и предпочтет создавать произведения посредственные, которыми будут восхищаться при его жизни, нежели чудеса искусства, которыми будут восхищаться лишь через долгое время после его

^{VII} Я весьма далек от того, чтобы считать, что такое влияние женщин есть само по себе зло. Это дар, которым их наградила природа; лучше направляемое, это влияние могло бы принести столько же добра, сколько зла оно причиняет сегодня. Никто еще не понимает, какие выгоды приобрело бы общество, если бы эта половина человеческого рода, которая управляет другою, получала лучшее воспитание. Мужчины всегда будут такими, как это будет угодно женщинам: если же вы хотите, чтобы они стали великими и добродетельными, научите женщин тому, что есть величие души и добродетель. Рассуждения, которые влечет за собою эта тема и которыми некогда занимался Платон, заслуживают дальнейшего развития под пером, имеющим право писать о том же после столь великого мастера и защищать столь великое дело.

смерти. Скажите нам, знаменитый Аруэ⁹⁸, сколько откровенных и сильных красот принесли Вы в жертву нашим ложным приличиям! и скольких великих созданий стоил Вам дух галантности, породивший столько безделушек!

Так распушенность нравов — неизбежное следствие роскоши — в свою очередь ведет к испорченности вкуса. Если же случайно среди людей, выдающихся по своим дарованиям, найдется один, у которого достанет твердости в душе, чтобы не примениться к духу своего века и не унижить себя жалкими творениями, — то горе ему! Он умрет в нужде и забвении. И это не пророчество, а плоды горького опыта! Карл, Пьер⁹⁹, пришло время, когда кисть, предназначенная для того, чтобы умножать величие храмов наших изображениями возвышенными и священными, выпадет из ваших рук или будет осквернена тем, что станет украшать непристойными картинками дверцы экипажей¹⁰⁰. А ты, соперник Праксителя и Фидия¹⁰¹, чьим резцом древние могли бы воспользоваться, чтобы творить себе богов, способных оправдать в наших глазах их идолопоклонство; неподражаемый Пигаль, твоей руке придется лепить животы смешных уродцев¹⁰², или — она не найдет себе работы.

Размышляя о нравах, нельзя не вспомнить с наслаждением картины простоты обычаев первобытных времен. Это — прекрасное побережье, украшенное руками одной только природы, к которому беспрестанно обращаются наши взоры и от которого отдаляешься столь неохотно. Когда люди были невинны и добродетельны, они хотели, чтобы боги были свидетелями их поступков, и они жили с богами под одной и тою же крышею; но вскоре, когда люди стали недобрыми, им наскучили эти неудобные свидетели и они удалили их в великолепные храмы. В конце концов, они изгнали богов и оттуда, чтобы обосноваться в этих храмах самим, или, по меньшей мере, храмы богов уже перестали отличаться от домов людей. Это было пределом упадка нравов, и никогда пороки не заходили столь далеко, как в то время, когда их, так сказать, поддерживали мраморные колонны и когда они у входа во дворцы великих мира сего были запечатлены в коринфских капителях.

Пока умножаются жизненные удобства, совершенствуются искусства и распространяется роскошь, истинное мужество хиреет, воинские доблести исчезают; и все это тоже дело наук и всех этих искусств, что развиваются в тиши кабинетов. Когда готы опустошили Грецию¹⁰³, все библиотеки были спасены от сожжения лишь благодаря тому, что один из победителей подумал: надо оставить врагам то их достояние, которое так удачно отвращает их от военных упражнений и располагает к занятиям праздным и требующим сидячего образа жизни. Карл VIII оказался повелителем Тосканы¹⁰⁴, почти не обнажая шпаги; а весь его двор приписал эту неожиданную легкость победы тому, что итальянские государи и дворянство больше увлекались остроумием и ученостью, чем занимались упражнениями, развивающими силу и воинское рвение. В самом деле, говорит тот здравомыслящий человек¹⁰⁵, который приводит эти два случая, все эти примеры учат нас, что при таком военном порядке и при

всяком ему подобном изучение наук гораздо более способствует расслаблению и утрате мужества, чем укреплению этих чувств и воодушевлению людей.

Римляне признавались, что воинская доблесть исчезала среди них по мере того, как они начинали понимать толк в картинах, гравюрах¹⁰⁶, сосудах из золота и серебра и заниматься изящными искусствами; и, как если бы эта знаменитая страна была предназначена судьбою постоянно служить примером для других народов, возвышение дома Медичи и возрождение искусств¹⁰⁷ вновь и, быть может, навсегда погубили ту воинскую славу, которую Италия, казалось, возвратила себе за несколько веков перед тем.

Древнегреческие республики с той мудростью, какою блещет большая часть их установлений, запретили своим гражданам заниматься всеми теми спокойными и требующими сидячего положения ремеслами, которые, ослабляя и разрушая тело, слишком рано иссушают стойкость души. В самом деле, как, думаете вы, смогут встретиться лицом к лицу с жаждой, усталостью опасностями и смертью люди, которых малейшая нужда угнетает, а малейшая трудность лишает мужества? Откуда возьмется у солдат мужество, чтобы нести непомерные тяготы, к которым у них нет никакой привычки? Откуда возьмется у них пыл, чтобы совершать вынужденные переходы под командованием офицеров, которые не в силах держаться в седле? Пусть не указывают мне в ответ на прославленную доблесть всех этих современных воинов, которые вымуштрованы столь умело. Мне весьма расхваливают их храбрость в день битвы, но мне никак не объясняют, как они выдерживают чрезмерное напряжение, как они переносят капризы разных времен года и непогоды. Достаточно, чтобы немного пригрело солнце или выпал снег, достаточно лишить этих воинов некоторых удобств, чтобы в несколько дней рассеять и уничтожить лучшую из наших армий. Бесстрашные воины, стерпите однажды правду, которую вам столь редко приходится слышать. Вы храбры, я это знаю; вы одержали бы с Ганнибалом победу при Каннах и при Тразимене¹⁰⁸; Цезарь пересек бы с вами Рубикон¹⁰⁹ и поработил свою страну: но никак не с вами перешел бы Ганнибал через Альпы и не с вами победил бы Цезарь ваших предков¹¹⁰.

Битвы не всегда решают успех войны, и добиться успеха — это для генералов искусство более высокое, чем искусство выигрывать сражения. Иной бесстрашно бросается в огонь, но это не мешает ему быть очень плохим офицером; и даже солдату, пожалуй, нужнее немного больше силы и выносливости, чем такая храбрость, которая не оберегает его от смерти. И не все ли равно для государства, как погибнут его войска: от лихорадки ли и простуды или от неприятельского оружия.

Если развитие наук вредно отражается на воинских качествах, то на свойствах моральных оно отражается еще более вредно. С первых же лет нашей жизни безрассудное воспитание изощряет наш ум¹¹¹ и извращает наши суж-

дения. Я вижу повсюду бесчисленные заведения, где с большими затратами воспитывают молодежь, чтобы научить ее всему, но только не выполнению ее обязанностей. Ваши дети не будут знать своего родного языка, зато они научатся говорить на других языках, которые нигде не употребляются; они научатся слагать стихи, которые они сами едва ли смогут понимать, не умея отличать заблуждения от истины, они овладеют искусством делать их, с помощью благовидных доказательств, неразличимыми и для других; но они не будут знать, что означают слова: великодушие, справедливость, воздержание, человечность; сладостное слово «родина» никогда не дойдет до их слуха, и, если перед ними говорят о Боге, то не столько для того, чтобы они почитали Бога, сколько чтобы они его боялись^{VIII}. Я бы предпочел, сказал один мудрец¹¹², чтобы мой ученик проводил время, играя в мяч, это, по меньшей мере, сделало бы его тело подвижным. Я знаю, что детей нужно как-то занимать и что праздность есть для них самая страшная опасность. Чему же они должны научиться? Вот, поистине, удивительный вопрос! Пусть они учатся тому, что они должны будут делать, когда станут мужчинами^{IX}, а не тому, что они должны позабыть.

^{VIII} «Философские мысли»¹¹³.

^{IX} Таково было воспитание спартиатов, по свидетельству самого великого из их царей¹¹⁴. «Достоин величайшего внимания,—говорит Монтень,—что в превосходном наставлении о государственном устройстве у Ликурга, поистине удивительном по своему совершенству и уделяющем однако столь много внимания прокормлению детей, как главной своей задаче, в самом этом пристанище муз, так редко упоминается об учении; как будто этому презирающему всякое иное ярмо юношеству вместо наших учителей наук дали лишь учителей доблести, благоразумия и справедливости»¹¹⁵.

Посмотрим теперь, как говорит этот же писатель о древних персах: Платон, говорит наш автор, рассказывает¹¹⁶, что «старший сын их царствующей династии воспитывался следующим образом. После рождения его поручали не женщинам, но двум евнухам, пользовавшимся наибольшим доверием царей по причине их добродетели. Они заботились о том, чтобы сделать его тело красивым и здоровым, и, когда ему исполнилось семь лет, заставляли его садиться на коня и отправляться на охоту. Когда он достигал четырнадцатилетнего возраста, они передавали его в руки четверки: самого мудрого, самого справедливого, самого воздержанного и самого доблестного из всей нации. Первый учил его религии, второй — быть всегда правдивым; третий — побеждать свою жадность; четвертый — ничего не бояться»¹¹⁷. Все, добавлю я, стремились сделать его благонравным и ни один — ученым.

«Астиаг,—говорится у Ксенофонта,—спросил у Кира¹¹⁸ о его последнем уроке. В нашей школе,—отвечал тот,—высокий мальчик, имевший короткий хитон, отдал его одному из своих товарищей меньшего роста и забрал у того принадлежащий ему более длинный хитон. Когда наш наставник предложил мне быть судьей в этом споре, я рассудил, что следует сохранить такое положение вещей, и это будет удобнее всего для обоих. В ответ на это он мне доказал, что я поступил плохо; ибо я исходил только из соображений удобства, а следовало прежде всего иметь в виду справедливость, которая требует, чтобы ни у кого не отнимали силу то, что ему принадлежит; и еще сказал, что мальчика за это высекли точно так же, как секут нас в

Наши сады украшены статуями, а наши галереи — картинами. Что же, по вашему, изображают эти шедевры искусства, выставленные для всеобщего обозрения — защитников отечества или еще более великих людей, кои обогатили его своими добродетелями? Нет. Эти картины изображают все заблуждения сердца и ума ¹¹⁹, заботливо выбранные из древней мифологии и выставленные на обозрение нашим детям с их ранних лет, вне сомнения, для того, чтобы у них всегда были перед глазами примеры дурных поступков даже прежде, чем они выучатся читать.

Откуда рождаются все эти заблуждения, если не из пагубного неравенства ¹²⁰, появившегося среди людей из-за различия дарований и унижения добродетелей? Вот самый очевидный результат всех наших занятий и самое опасное из всех их последствий. Уже не спрашивают больше о человеке, честен ли он, но — есть ли у него дарования; ни о книге, полезна ли она, но — хорошо ли она написана. Награды щедро расточаются остроумию, а для добродетели уже не остается никаких почестей. Есть тысячи наград за прекрасные речи, и ни одной — за прекрасные деяния. Пусть мне все же скажут, можно ли сравнить славу лучшего из рассуждений, которые будут увенчаны наградами в этой академии, с заслугами того, кто учредил эти награды.

Мудрец вовсе не гонится за богатством, но он не равнодушен к славе; и когда он видит, как дурно она бывает распределена, его добродетель, которую дух соревнования оживил бы и сделал бы полезною для общества, начинает томиться и постепенно угасает в нищете и безвестности. Вот к чему должно в конце концов привести повсеместное предпочтение дарований приятных дарованиям полезным, и это слишком хорошо подтверждается и нашим опытом со времен обновления наук и искусств. У нас есть физики, геометры, химики, астрономы, поэты, музыканты, художники — у нас нет больше граждан; и если они еще и остались, рассеянные по нашим глухим деревням, то погибают там в бедности и пренебрежении ¹²¹. Таково положение, до которого они теперь низведены; вот какие чувства выказываем мы тем, кто дает нам хлеб, а нашим детям молоко.

Я признаю, однако, что зло не столь велико, как оно могло бы быть. Всевышняя прозорливость, помещая рядом с вредоносными растениями обычные целебные травы, а в самом теле многих ядовитых животных противоядие от их укусов, научила властителей, которые суть ее слуги, подражать ее мудрости. И вот следуя ее примеру, из самых недр наук и искусств, источников тысячи неурядиц, этот великий монарх ¹²², чья слава из века в век будет лишь

деревне, когда мы забываем первый аорист от глагола τῶπω *. Мой учитель должен был произнести превосходную речь *in genere demonstrativo* **, прежде чем убедил меня, что его школа может сравниться с тою».

* Я бью (*греч.*).

** В образцовом, показательном роде (*лат.*).

возрастать, извлек эти знаменитые общества ¹²³, наделенные одновременно опасным грузом человеческих знаний и священным бременем нравственности; общества, прославившиеся благодаря тому вниманию, которое они уделяют поддержанию чистоты нравов, и благодаря требованию такой чистоты нравов от новых членов.

Эти мудрые установления, упроченные его августейшим преемником ¹²⁴ и послужившие образцом для всех королей Европы ¹²⁵, послужат, по меньшей мере, уздой для литераторов, которые все поголовно, стремясь к чести быть принятыми в академии, будут следить за собою и будут стараться удостоиться этого в награду за полезные труды и безупречные нравы. Те из собраний, которые для соискания премий, присуждаемых за литературные достоинства, изберут темы, способные возродить в сердцах граждан любовь к добродетели, покажут, что такая любовь царит безраздельно среди их участников, и дадут народам столь редкое и приятное наслаждение увидеть, что ученые общества приносят человеческому роду не одни только приятные знания, но и благотворные наставления.

Пусть же не приводят мне в качестве возражения то, что есть для меня лишь новое доказательство моей правоты. Многочисленность принимаемых мер только слишком хорошо доказывает, что эти меры нужно принимать, и мы вовсе не ищем лекарства от несуществующих болезней. Почему же нужно, чтобы эти меры из-за их недостаточности носили все еще характер обычных лекарств? Многочисленность учреждений, созданных для пользы ученых, может еще более привлечь внимание к самим предметам наук и обратить умы к их изучению. Можно подумать, если судить по принимаемым предосторожностям, что земледельцев слишком много и что следует бояться недостатка философов. Я вовсе не хочу проводить рискованное сравнение между земледелием и философией: этого никто бы не поддержал. Я только спрошу: что такое философия? что содержат писания наиболее известных философов? каковы уроки этих друзей мудрости? Если их послушать, разве нельзя их принять за толпу шарлатанов, что кричат каждый свое на общественной площади: идите ко мне, только я один никогда не ошибаюсь? Один утверждает, что тел вообще нет в природе и что все есть мое представление о них ¹²⁶; другой, что нет ни иного вещества, кроме материи, ни иного бога, кроме вселенной ¹²⁷. Этот заявляет, что не существует ни добродетелей, ни пороков и что добро и зло в области нравственности — это выдумки ¹²⁸; тот — что люди суть волки ¹²⁹ и могут со спокойною совестью пожирать друг друга. О, великие философы! Почему не оставляете вы для друзей и детей своих эти полезные уроки? вы бы сразу были за них вознаграждены, и мы не боялись бы найти в ком-нибудь из наших друзей или детей одного из ваших приверженцев.

Вот каковы они, эти удивительные люди, которым еще при жизни их современники так щедро расточали свое уважение и которым после кончины было уготовано бессмертие! вот те мудрые наставления, которые мы от них

получили и которые мы передаем из поколения в поколение нашим потомкам! Разве язычество, подверженное всем заблуждениям человеческого разума, оставило потомству что-либо, что можно было бы сравнить с постыдными памятниками, которые уготовало ему книгопечатание, в царстве Евангелия? Нечестивые писания Левкиппа и Диагора¹³⁰ погибли вместе с ними; еще не было изобретено искусство увековечивать странные причуды человеческого разума; но благодаря типографским литерам^х и тому применению, какое мы им находим, опасные заблуждения Гоббсов и Спиноз¹³¹ сохраняются навеки. Прославленные писания, на которые не были способны невежественные и грубые отцы наши, соединитесь у наших потомков с этими еще более опасными сочинениями, что дышат испорченностью нравов нашего времени, и, все вместе, несите грядущим векам достоверную историю развития и успехов наших наук и наших искусств. Если прочтут они вас, у них не останется никаких сомнений относительно того вопроса, который мы сегодня поднимаем; и, если только не будут они еще безрассуднее, чем мы, то возденут руки к небу и скажут с горечью в сердце: «Боже всемогущий, ты, который властвуешь над умами, освободи нас от знаний и от пагубных искусств отцов наших и верни нам неведение, невинность и бедность — единственные блага, которые могут составить наше счастье и которые только и будут драгоценными в твоих глазах».

Но если успехи наук и искусств ничего не прибавили к нашему истинному счастью, если они испортили наши нравы и нанесли ущерб чистоте вкуса, что подумаем мы о толпе наивных писателей, что убрали перед храмом муз преграды, защищавшие доступ к нему и расставленные природою как испытание силы для тех, кого прельщает знание? Что подумаем мы об этих компиляторах, нескромно взломавших двери науки и впусивших в святилище ее чернь, недостойную приближаться к этому святилищу; тогда как следовало бы желать, чтобы все те, кто не может продвинуться далеко на поприще ли-

^х Если посмотреть на ужасающие неурядицы, которые книгопечатание уже породило в Европе, если судить о будущем по тем успехам, которые делает зло изо дня в день, легко можно предвидеть, что наши властители не преминут приложить к изгнанию этого ужасного зла из своих государств столько же усилий, сколько потратили они на его распространение. Султан Ахмет¹³², уступая настояниям нескольких так называемых людей со вкусом, согласился устроить в Константинополе типографию; но едва был пущен в ход типографский пресс, как его пришлось уничтожить и выбросить части его в колодезь. Говорят, что халиф Омар¹³³, когда его спросили о том, как поступить с Александрийской библиотекой, ответил в таких выражениях: «Если книги этой библиотеки содержат вещи, противоречащие Алькорану, — то они дурны и их следует сжечь; если же они содержат лишь те же учения, что и Алькоран, опять-таки сожгите их, потому что они излишни». Наши ученые привели это рассуждение как верх нелепости¹³⁴. Однако же, представьте себе на месте Омара Григория Великого¹³⁵, а вместо Алькорана — Евангелие, библиотека опять-таки была бы сожжена, и это было бы, быть может, самым прекрасным деянием этого знаменитого первосвященника.

тературы, были отогнаны от входа в святилище и занялись ремеслами, полезными для общества? Тот, кто всю свою жизнь был бы скверным рифмоплетом, посредственным геометром, быть может, стал бы великим в изготовлении тканей. Никакие учителя не понадобились тем, кому природою было предназначено создать школу. Бэконы, Декарты и Ньютоны¹³⁶ — эти наставники человеческого рода, сами не имели никаких наставников; — и какие педагоги привели бы их туда, куда вознес этих людей их могучий гений? Заурядные учителя могли бы лишь ограничить их кругозор узкими рамками своих собственных возможностей. Ведь именно первые препятствия научили их прилагать усилия и помогли им преодолеть то огромное пространство, которое они прошли. Если и нужно позволить некоторым людям посвятить себя изучению наук и искусств, то лишь только тем, кто почувствует в себе силы, чтобы самостоятельно идти по их стопам и опередить их; этим немногим и следует воздвигать памятники во славу человеческого ума. Но если мы хотим, чтобы ничто не было ниже их гения, нужно, чтобы ничто не было ниже их ожиданий — вот то единственное поощрение, в котором они нуждаются. Душа незаметно приходит в соответствие с тем, что ее занимает, и лишь великие события создают великих людей. Первейший в красноречии был в Риме консулом¹³⁷, а, может быть, величайший из философов — канцлером Англии¹³⁸. Как вы считаете, если бы один из них занимал лишь кафедру в каком-нибудь университете, а другой достиг лишь скромного академического содержания; как вы считаете, спрашиваю я, на их произведениях не сказалось бы их положение в обществе? Пусть же короли не гнушаются допускать в свои советы людей более всего способных быть для них хорошими советчиками; пусть откажутся они от этого давнего предубеждения, порожденного гордынею вельмож, что искусство править народами труднее, чем искусство их просвещать; будто легче заставить людей поступать хорошо по собственному желанию, чем принуждать их к тому же с помощью силы; пусть первоклассные ученые получают при дворе почетный кров; пусть они получают там единственную достойную их награду: возможность содействовать своим влиянием счастью народов, которые они научат мудрости; лишь тогда увидят люди, на что способны добродетель, наука и власть, возбуждаемые духом благородного соревнования и действующие в согласии на благо человеческому роду. Но до тех пор, пока с одной стороны будет только власть, а с другой — только знания и мудрость, ученые редко будут думать о великих вещах, государи будут совершать хорошие поступки еще реже, а народы будут все так же порочны, испорчены и несчастны.

Что до нас, людей обыкновенных, которым небо не отпустило столь великих дарований и которых оно не предназначает к подобной славе, то давайте по-прежнему останемся в тени. Не будем гнаться за известностью, коей мы не достигнем и которая при настоящем положении вещей никогда не воздаст нам того, что она нам стоила, если бы у нас были все права, чтобы ее добиться.

Зачем же искать наше счастье в мнении других, когда мы можем его найти в самих себе. Предоставим другим заботу учить народы их долгу и ограничимся тем, что будем хорошо выполнять свой долг; нам нет нужды знать об этом больше.

О добродетель, возвышенная наука простых душ! Нужно ли, право, столько усилий и приспособлений, чтобы тебя познать? Разве не запечатлены во всех сердцах твои принципы? и разве, чтобы узнать твои законы, не достаточно ли уйти в самого себя и прислушаться к голосу своей совести, когда страсти безмолвствуют? ¹³⁹ Вот истинная философия, научимся же ею довольствоваться; и, не завидуя славе тех знаменитых людей, которые достигают бессмертия в республике ученых, попытаемся провести между ими и нами то почетное различие, которое замечали когда-то между двумя великими Народами ¹⁴⁰: один из них умел хорошо говорить, а другой — хорошо поступать.